

О ДНАЖДЫ в программе «Взгляд» показали дом, приоткрытый Осипа Мандельштама в его воронежском изгнании. И с экрана прозвучал короткий диалог ведущего программы с одним из «хозяев города».

Ведущий поинтересовался, нет ли у городских властей намерения присвоить улице имя ослепленного поэта. Иронически и снисходительно по-смеиваясь, спрашивавший, типичный представитель дружного племени номенклатуры — сытое, гладкое, самоуверенное лицо, взгляд насковозь, — пожал плечами: с чего, мол? «Ну как же! — жалко забился голос ведущего. — Такая трагическая судьба, такой большой поэт...»

«Да ведь не Пушкин!» — срезал Хозяин города и сам засмеялся, довольный своей находчивостью. «Незавидного росточка, худощавый, старобразный человек, которому не было пятидесяти, а выглядел далеко за шестидесять, с серой щетиной на провалившихся в челюстную пустоту щеках, со вскинутой по-гоголиному головой, тонущий в не по чину бархатной, тронутой молнию шубе с чужого плеча.

Ни одна поэтическая и человеческая судьба не может поспорить в неопытности с судьбой Мандельштама. Мало не представлять Блок и Брюсов, Маяковский пусть о нем злую шутку: мраморная муза. Зато знала Мандельштаму цену и не колебалась отдать первенство всевидящей и неподкупной Анне Ахматовой. Увидела сразу — в рост — и назвала «молодым Державиным» равновеликая Анна Ахматовой Марина Цветаева. Если впоследствии ясный взгляд болярыни Марины в его сторону чуть замутился, то виноваты его собственные взбрыки.

С. Маковский, ностальгически вспоминая в парижском самознании прошлое, а в нем Мандельштама, писал о его детстве, что Мандельштам не был восхитен. Можно. Эта его детскость, незащищенность, любовь к сладкому, беспричинный смех (он смеялся от «иррационального юмора», переполняющего мир) и радом резкая самостоятельность мнений, независимость, умственная и душевная, неподчиненность авторитетам, догмам, принятому мнению, правилам литературного поведения раздражали людей. Мандельштама старались высмеять даже за поступки, которые, будь они совершены другими, считались бы по справедливости героическими. Так, он разорвал список приговоренных к расстрелу, который собирался подмахнуть, не глядя, оголтелый чекист Блюмин — убийца немецкого посла Мирбаха и заведатый литературных салонов. Об этом рассказывали с упором не на отчаянную смелость жеста, а на то, что Мандельштам, с криком выскочив из комнаты, когда Блюмин выхватил пистолет. Литературный эфемер и житейский хам, Амир Саргиджан оскорбил Надежду Яковлевну. Мандельштам доверчиво обратился к писателю-соуду, и этот последний под председательством Алексея Толстого оправдал хулигана. Но в литературной среде говорили не о поступке чести, а лишь о великодушном ответе советского графа: «Я настолько силен, что мог бы стереть вас в порошок, но я даже не подам в суд».

Что же держало Мандельштама на плаву? Да разве был на плаву это вечно бездомный, почти нищий человек, до незначительной, то хищно преследуемый поэт, а потом узник, самобойца-неудачник, ссыльный, живущий подвешенным, на чужой территории, не имея ни единой копейки, лагерный эзек, не умирающий, а стиснувший на каком-то острове архипелага ГУЛАГ? Было к нему и другое отношение. Весной 1933 года Мандельштам дважды выступал в Ленинграде. Анна Ахматова писала: «Осипа Эмилевича встречают в Ленинграде как великого поэта, persona grata и т. п., к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград... и его приезд, и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще и сейчас».

О его вечере в Москве писал Н. Харджиев: «Мандельштам — единственное утешение. Это поэт гениальный... Мандельштам держал слушателей, как шаман, целых два с половиной часа. Он читал все стихотворения, написанные за последние два года в хронологическом порядке. В них было столько заключений, что многие исступались. Даже Пастернак испугался, промолвил: «Я завидую Вашей свободе. В моих глазах Вы новый Хлебников. И такой же чужой, как он. Мне нужна не-свобода». (Замечательное признание! — Ю. Н.). На провокационные вопросы придворных поэтов Мандельштам отвечал с высокомерным пленного императора. И все же не это главное. Мандельштам держало то, что он всегда оставался Мандельштамом, знающим себе цену.

Когда-то он сказал о замечательном пианисте Генрихе Нейгаузе вещь слова, полностью применимые к нему самому, да они и были выражением его поэтической веры:

Не предлоди он и не вальсы И не Листа листалысты — В нем росли и переливались Волны собственной правоты.

Поэт был для Мандельштама строителем. Через всю его поэзию прошло восхищение строением — стихи о Нотр-Дам, Аие-Софии, Реймском, Кельнском, Исаевском, Казанском соборах, Адмиралтействе. Иисус основал свою церковь на камне — Петросе, камне — в основе поэтической постройки Мандельштама, недаром первую свою книгу он назвал «Камени».

Построив свою церковь и ощутив ее этническую и эстетическую огромность, согласившись принести ту искупительную жертву, которой оплачивается возведение некоего Дома Господня, Мандельштам не обомлелся, в всей звучной горнаты сказал Иисусово: «От меня будет миру светлов».

Автор лучшей книги о Мандельштаме, Никита Струве, до этого бесстрашно шедший за ним в его глубь, как Данте за Вергилием по кругам ада, дает слегка отступился. При другом, подобном же высоком уподоблении, он вдруг тонким голосом завел, что не может же Мандельштам с его пьететом к Господу Богу... «Может, он все может, недаром его не навидели пигмеи. Нет, только так открывался во всей полноте и завершенности беспримерный путь поэта и непреложность его исхода — без волнения нет Мандельштама. Далекий от понимания своего масштаба, Мандельштам говорил: «Мы не пророки, даже не предтечи». Конечно, он не пророк и не предтеча, он тот, о ком пророчат, кому предтечают. И выбрал путь, ведущий на Голгофу. Его Голгофа была едва ли не страшной Инверсией. Муки Сына Человеческого завершили в течение дня. У Мандельштама муки растапливались на месаце, может быть, на год, никто не зна-

ет, когда, где и как он умер. Могилы Мандельштама нет, как нет могил Леонардо и Моцарта.

В упомянутой мною книге Никиты Струве найден ключ к такому сложному явлению, как Осип Мандельштам. Во главу своего исследования он поставил понятие судьбы в христианском смысле: не слепой рок, а свободное исполнение человеком Божьего замысла. «Мандельштам», — пишет Струве, — не только ушел от своей судьбы, он пошел ей навстречу, выбрал ее и овладел ею. 16 строчек о Сталине в ноябре 1933 года никак нельзя рассматривать как случайность, как безрасудное дерзновение: они — сердцевина жизненного и творческого пути, его итог и предопределение».

Неужели личная судьба и в самом деле должна подтверждать правоту поэта? Когда-то Кюхельбекер сказал: «Тяжка судьба поэтов всей земли, но горше всех — певцов моей России». Пушкин и Лермонтов сознательно шли на пулю. Их роковые поединки не имеют ничего общего с галантными дуэлями Фердинанда Лассалья и Эвариста Галуа, что и тут был смертельный исход. Но одно дело, когда к барьеру ведут правила рыцарской игры, другое — давление жизненных обстоятельств и собственный неотвратимый посыл. Пуля подтвердила поэтическую правоту Гумилева и Маяковского (правотой может быть и расплата за измену поэзии), петля — Есенина и Цветаевой, Блок был заморен голодом с собственного согласия, Клюев сгинул то ли в ссылке, то ли в лагере, та же участь постигла Клычкова, Хармса и Введенского, Пастернака затравили, список можно бесконечно расширять. Случалось в большом поэтическом хозяйстве России, что Орфей выводил из ада Эвридику: трагическая жизнь Ахматовой увенчалась признанием и славой. Но это исключение. Ахматова говорила, что не могла бы пожелать поэту Мандельштаму лучшей судьбы. Надо сказать, что на Западе к поэту подобный требован не проявлялся. Судьбы Вильона, Шаньке, Клейста не типичны. Более естественны академические лауры и почести. Нынешние ведущие советские поэты тоже не гибнут, а становятся секретарями СП и лауреата-

ми. Прежде наша Родина куда строже спрашивала с лириконовцев. Но даже в ряду отечественных поэтов-страдальцев, поэтов-жеств участь Мандельштама беспримерна. Прежде всего по сознательности и твердости выбора, именно выбора, а не пассивного принятию. У него не было никаких иллюзий, когда он выбирал, он встал и пошел... Попробуем пунктирно проследить путь Мандельштама, смешно посягать на большее в кратком очерке, когда и то-мо новых исследований (зарубежных) не могут исчерпать этой темы. Но обяза-тельно ли расширять Мандельштама, а если нет, то можно ли наслаждаться не прочитанными до конца стихами? Помните у Лермонтова —

Есть речи — значенье Темно иль невозможно — Но им, без волнения, Внимать невозможно.

Лермонтов первый в русской поэзии обнаружил, что со словом не все так просто, не всегда оно очевидно, не всегда совпадает с сутью.

Поэтическое движение Мандельштама шло по линии раскрытия слова, полнейшей свободы ассоциаций, преодоления временных и пространственных рамок. Вершина мандельштамовской поэзии — «Стихи о неизвестном солдате» входят в душу варьями страшных откровений сквозь мучительный туман тайности, но последний громозд апокалиптической картины мира, созданной поэтом. Это переличка убийцы:

— Я рожден в девяносто четвертом, Я рожден в девяносто втором...

В тризну по всем погубленным: в войнах, революциях и мирном душегубстве голодом и статьями — поэт включает себя:

И, в кулак зажимая истерный Год рожденья с гурьбой и гуртом, Я шепчу обскорвленным ртом: — Я рожден в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном Неадажном году, и столетья Окружают меня огнем.

Он как будто бы знал, что дата его смерти останется неизвестной, как и место погребения, если погребение вообще было.

После этого затнувшегося отступления вернемся к нашему намерению проследить поэтический путь Мандельштама. Выше приводились строки из его символического стихотворения «Silentium». Не менее знаменито вот это:

Образ твой, мучительный и зыбкий, Я не мог в тумане осязать. «Господи!» — сказал я по ошибке, Сам тот не думая сказать.

Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди. Вперед густой туман клубится, И пустая клетка позы.

Ни одному барду одряхлевшего символизма и не снились такие стихи. Уже в том же году «пустая клетка» наполнилась, да еще как! Н. Гумилев повел отсчет акмеистического Мандельштама от этих вот коротких стихов:

Нет, не луна, а светлый циферблат Сияет мне, и чем я виноват, Что слабых звезд я осязаю

И Батюшкова мне противна спесь: «Который час?» — его спросили здесь, И он ответил любопытным: «вечность».

Он сам исчерпывающе и сжато сказал о сути акмеизма: «Прочь от символизма нет Мандельштама. Далекий от понимания своего масштаба, Мандельштам говорил: «Мы не пророки, даже не предтечи». Конечно, он не пророк и не предтеча, он тот, о ком пророчат, кому предтечают. И выбрал путь, ведущий на Голгофу. Его Голгофа была едва ли не страшной Инверсией. Муки Сына Человеческого завершили в течение дня. У Мандельштама муки растапливались на месаце, может быть, на год, никто не зна-



ГОЛГОФА МАНДЕЛЬШТАМА

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

тепло, как родственное его внутреннему теплу».

Он полюбил прочную и вескую материю камня. Воспелвал камень, одухотворявшийся в соборы и города. Здесь начинается его прохождение через всю жизнь тема Петербурга. Первое в этом ряду стихотворение «Петербургские строфы» посвящено старшему другу Николаю Гумилеву, наставнику, умному, доброму критику, но не учителю. Учителем не было, были предшественники: Виллон, Державин, Батюшков, Тютчев, Верлен. Мандельштам упивается точным и цепким словом. Он овет своего младшего соратника по цеху поэтов Георгия Иванова:

Поедем в Царское село! Свободны, ветрены и пьяны, Там улыбаются уланы, Всюду на крепкое седло...

В этих стихах молодого Мандельштама проглядывают восхищение глумой гусарской юностью, беспечностью и здоровьем, совсем как у старого Льва Толстого, только без оттенка зависти. Я не оговорился, сказав «гусары», уланы не стояли в Царском селе, это описка поэта.

Дальше стихотворение приобретает едкую сатиричность в описании обитателей Царского села: однодому генерала, кильжирного князя-офицера и напугавших поэта «мошей» старой фрейлины. Как странно, что многие исследователи считали это стихотворение чисто описательным, холостой тратой акмеистических мускулов.

Если верить стихам, а им надо верить до известного предела, им они не дневник, а творчество, Мандельштам в эти годы улавливал жизнь. Несил католек, стал отражать в целомудренную келью своей поэзии — «Ахматовой». Война 14-го года всколыхнула его поначалу не изысканные стихи «Собирались эллины войною / На прелестный остров Саламин». Многих разозлило кощунственное в подобном контексте слово «прелестный». Затем он посерьезнел, отдал естественную дань патриотизму, но уже в 16-м году затнувшаяся бойня вызвала у него лишь чувство отторжения.

Очень важным является появление темы Рима в творчестве Мандельштама. Глубокий поклон Риму значил для него обретение христианства. Естественным стало для него и крещение в христианскую веру. Правда, он принял лютеранство, а не православие, но не в силу приверженности к протестантско-бюргерским символам веры, а потому что, будучи российским жителем, не хотел брать на себя культурные обязательства православия — он был религиозным, а не церковным человеком. Кроме того, не хотел упреков в расчётливости.

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины: Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, Что над Элладою когда-то поднялся.

А завершат книгу опять же Греция, хотя стихотворение посвящено театру Раисина: «Я не увижу знаменитой Федры». В конце — глубокий задумчивый вздох: «Когда бы грек увидел наш ирм».

Греческие игры Мандельштама, которыми так насыщена «Tisibai», начинаются опять же с «Федры», но уже не расиновой, а той, что в каменной Трезине заплотала трон мужа воображая. Мандельштам обретает не своего Тезея, а на ощупь, Грецию в каменности Тавриде*, в той части Крыма, что так похожа

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

И все же в «Камени» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великоленной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предвещающих новый этап поэтической работы:

поэзия Мандельштама, это совесть. И она не пускает поэта от своего порога. Он остается — без утешения поэзией. Большое время шлущится советской сонатикой, и лира современного певца — пишущая машинка способна родить лишь тень Блтых могучих сонат.

Не исчерпав себя этим пронзительным стихотворением, Мандельштам создает вариант, в котором утверждает: «Нет, никогда ничей я не был современник», но вдруг, смиря вызов, предлагает «с веком вековать». В стихах этого времени — мучительная раздвоенность и неспособность сделать окончательный выбор.

Великолепным стихотворением «Я буду метаться по табору улицы темной» он расстается с поэзией на пять лет.

Разбужен для поэзии он был в 1930 году — выстрелом Маяковского. Он понял, что с этой властью и этим временем не может быть высокого договора, коли уже безупречное служение, принесение в жертву таланта и сердца не спасает от гибели. И он решился. А тут еще выпала поездка в Армению, ошеломившую небом и дикой кошмой царяющей рекой «орущих каменной государственности» до безбожно разбазариваемую на блуд, обиды, мелкие сватки, жалкие страхи души, пробудив великую энергию творчества.

До чего же ясно видел Мандельштам свою судьбу! В горячайшем стихотворении «Колоту ресницы. В груди прикипела слеза» он за семь лет, до второго ареста и лагеря уже все знал. И в разгар своих провидческих наятий он вдруг пишет и печатает (!) невероятное по вызову стихотворение: «Я пью за военные астры, за все, чем корию меня», где дерзко перечисляет ценности прошлого, оставшиеся и поныне достоянием свободного мира: от музыки соевен саовских до баскских волн и сливок альпийских, от «ролд-роиса» до масла парижских картин, — веселый и неглиный гимн европейской наполненности бытия. Он, и погуляла же критическая дубина по его лысеющей голове!

А ему и горюшка мало, «в нем росли и переливались волны собственной правоты» — высшее, чего может достичь

По-мандельштамовски не просто и не прямо оплакав Белого, а с ним и свое прошлое, Мандельштам вышел на последнюю прямую, которая скривит его в гибель, произнеса с набатной гулкостью в стране, «взвывая на прикус себребристу мышцу» — индийский образ тишины, молчания из другого стихотворения, а по-русски — воды в рот набравшей, все, что он думает о кавказском горе.

Часто приходится слышать: почему не нашлось на Сталина Занда, Шарлотты Корде, что бы Фани Каплан! Почему же — нашлось, только Мандельштам действовал не кинжалом или пулей, а словом. В дни рабского молчания, наклона и угодливости, он громыхнул такими стихами:

Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи на десять шагов не слышны, А где хватит на полразговора — Там пометят кремлевского горца.

Но перед тем он дал себе пережить последнюю бурную влюбленность — в поэтессу Марию Петровых.

Ты, Мария — гибнущий подмога. Надо смерть предупредить, уснуть. Я стою у твоего порога. Уходи. Уйди. Еще побудь.

Последняя строка — чудо лаконизма; сколько чувств выражено такими скупыми средствами: два глагола, три точки.

На этом кончилась жизнь и началось житие. Напомним вози: поешница Алексею Толстому, возможно, ускорившая все остальное, арест, путь по Каме в ссылку, Чердынь, попытка самоубийства, Воронеж.

Жизнь возвращалась медленно, поэзия вернулась внезапно и бурно апрельскими днями тридцать четвертого года, когда пробуждается природа и так сладко пахнут синие пласты чернозем. «Чернозем» — чуть ли не первое стихотворение сыльного Мандельштама.

И вот он уже может бросить тем, что пытался запечатать ему рот:

Ливия меня морей, разбега и разлета И дав стопе упор насильственной земли, Чего добились вы! Блестящего расчета: Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Свою правоту он подтверждает весело и нагло, вроде бы шуточным, на деле же глубоко серьезным, пророческим стихотворением, поразительным для ссыльного поселенца, живущего у Христа-ради, поэта, оторгнутого от литературы, печати, читателей:

Это какая улица! Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова! — Как ее не вывертывай, Криво звучит, а не прямо.

В жизни Мандельштама стало много пейзажа, он ездил по области и отзывался простору, да и Воронеж — небылой город — куда ближе природе, нежели Ленинград и Москва, и природа врывается в его лирику дивными стихами про щегла. С тех пор для многих в мире Воронеж стал «страной щегла».

Мандельштам сам споткнулся об этот гимн поэзии — красоте — вечности и создал дивные варианты стихотворения, затем извлек из рукава еще один самоцвет, перенес любовь на другую чудную птицу — снегиря.

Воронеж дал Мандельштаму не только новые темы, но и новое мироощущение. Он стал отзываться тому, к чему прежде оставался глух, безразличен.

Он был потрясен фильмом «Чапаев» с влажной простыней экрану «е» раскрывший рот» прискакал бесстрашный комбриг. И подвиги арктических летчиков будоражат душу. Люются, люются стихи, как никогда изобильно, будто чернозем проник в его вещество, наградив буйным плодородием. Ему кажется, что возможно сращение с действительно-возможно, и ради этого он готов прийти «головой повинной тяжели». Но искупление воображаемой вины оказалось невозможным. Он никому не нужен, да и самому ему становится мерзок несовершенство себя раскаяния.

И наконец он приходит к своей поэтической вершине — стихам о неизвестном солдате, с которых начался наш разговор. Это жизненный итог, он готов принять свою солдатскую, свою остроружную судьбу.

Вот хроника последнего года несободной свободы Мандельштама: в мае 1937-го кончился срок его трехлетней ссылки. В июне его лишили права жить в Москве. Осенью Мандельштам на два дня едет в Ленинград для сбора денег. В марте 1938-го Литературный фонд дает Мандельштаму путевки в дом отдыха в Саматухи. 2 мая Мандельштама арестовали. Кончилась жизнь, началась страсть...

За пределами этого очерка осталась блистательная проза Мандельштама: повесть, рассказы, остроумнейшие наброски, приближающиеся к высокому фельетону, статьи, рецензии, лишь упомянуто несравненное исследование о Данте. Поэт проверяется прозой. Проза Мандельштама — продолжение его поэзии.

Явление Мандельштама нехватно. Мне хотелось лишь сказать своим современникам: братья мои бедные, истомленные вечным поиском хлеба насущного, оглушенные политическим красноречием, задуренные цинкиками-властолюбцами, остановитесь на мгновение, оторвитесь от ящика Пандоры — этой смерти ума и приниtte в душу — что столетие назад в мир пришел великий поэт Осип Мандельштам, которого предали, как Христа, и как Христа, отдели на муки и страшную казнь. Он взошел на Голгофу, но Преображения за все десятилетия так и не свершилось.

Та звезда, что зажглась на небе век назад, не погасла, как Вифлеемская по исполнению смысла: навести на вертел, где ожил от холода возрожденный Бог. К исплам Бога-Нахтигла не пришли с дарами ни царя, ни волхва, ни пастухи. И кто гробу никто не пришел, да и не было гроба. И звезда продолжает гореть усталым светом в надежде, что те, ради кого он принял муки, заметят ее и поймут значение. Мандельштам ради всех нас принес свою жертву, ради нас вышел на крестный путь и прошел до конца.

Юрий НАГИБИН.

О. Мандельштам. 1993 г.